

Концептуальное поле невозможного
в рассказах А. П. Чехова 1886–1887 годов
«Мечты» и «Счастье»

Л. Н. Синякова

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Аннотация. Исследуется репрезентация и функционирование концептов со значением невозможного в актуальном времени рассказанной истории. Материалом являются рассказы переходного периода А. П. Чехова. Цель статьи – выявление динамики концептуального содержания рассказов.

В рассказе «Мечты» бродяга и присоединившиеся к нему сотские мечтают о несбыточном: свободе, солнце, просторе и героических деяниях. Финал рассказа не обнаруживает изменения ситуации; все остаются лишенными того, о чем мечтали.

В рассказе «Счастье» персонажи по-разному трактуют титульное понятие. Старик-пастух и объездчик полагают, что счастье – это богатство. То, что они находятся рядом с зарытыми в землю древними кладами, но не могут их найти, делает их несчастными. Молодой пастух не в состоянии определить, что такое счастье. Для него очевидна ценность здоровья и жизни как таковой. Это убеждение совпадает с точкой зрения нейтрального повествователя, который развертывает безграничный простор вокруг стоянки пастухов, раздвигая границы и жизненного, и ментального пространства как для имплицитного читателя, так и для персонажей. Счастье

Синякова Л. Н. Концептуальное поле невозможного в рассказах А. П. Чехова 1886–1887 годов «Мечты» и «Счастье» // Критика и семиотика. 2018. № 2. С. 300–309.

ISSN 2307-1737. Критика и семиотика. 2018. № 2
© Л. Н. Синякова, 2018

заключено не в богатстве, а в витальных ценностях. Способность воспринимать человека и окружающий мир как процесс вечного обновления открывает жизнеутверждающую смысловую перспективу.

Таким образом, в рассказах представлены варианты оппозиции мечты / действительность, которые находят разное сюжетное и концептуальное завершение.

Ключевые слова: концептуальное поле, воля, пространство, счастье, богатство, витальность.

УДК 82-3

DOI 10.25205/2307-1737-2018-2-300-309

Контактная информация: Синякова Людмила Николаевна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры истории и теории литературы Новосибирского государственного университета (ул. Пирогова, 1, Новосибирск, 630090, Россия, scholast@ngs.ru)

Обозначенный в заглавии период – период трансформации художественности А. П. Чехова, определяющий параметры его поздней антропологии [Живолупова, 2017, с. 47–54], повествовательности [Шмид, 1998, с. 213–295; Фрайзе, 2012], жанровой модальности [Тюпа, 1989, с. 13–32] и т. п.

Излюбленный чеховский сюжет о персональной нереализации, по нашим наблюдениям, воплощается в указанные годы в четырех вариантах:

1) репрезентируется в модели «уединенного сознания» (В. И. Тюпа) и судьбе несостоявшегося человека с гипертрофированным чувством долга или вины («Пустой случай», «На пути»);

2) является результатом «озарения» (В. Б. Катаев) и контаминируется с сюжетом о воскресении («Казак»);

3) оформляясь в событии эмоционального взрыва, организует противоположный второй группе рассказов сюжет о деградации («Пьяные») или самоубийстве («Володя»);

4) условно назовем этот вариант сюжета «мечта и действительность» – событийность в нем организована как несовпадение желаемого и действительного («Мечты», «Счастье»).

Заметим, что все четыре варианта тяготеют к описанному Н. Д. Тамарченко на материале русской повести конца XIX – начала XX века сюжету испытания. Основной сюжетной ситуацией в этом случае становится «обнаружение или раскрытие уже данной, наличной, хоть и не всегда видимой и постигаемой сущности героя и мира» [Тамарченко, 2006, с. 243].

В анализируемых нами рассказах сюжет о нереализации осуществлен как сопоставление двух ментальных планов в структуре повествования. Описывается ситуация испытания мечтой, поэтому образ мира персонажей представлен как дуальная модель (мечта и действительность). Значение

приобретает ценностная несовместимость текущей ситуации и виртуального мира персонажей: люди не двигаются с места, переживая опыт преобразования в мечтах. В данных рассказах выявляются варианты сюжета о нереализации – ослабленно-авантюрный в событии мечтания («Мечты») (практически единичный у А. П. Чехова) и экзистенциальный в событии отказа от мечты («Счастье») – частотный в системе чеховской сюжеттики.

Герои испытывают недовольство своим положением «здесь и сейчас». Оно объясняется не в последнюю очередь их элиминированной персональностью: неслучайно у обоих в актуальном времени рассказа нет имени (в «Мечтах» это не помнящий родства бродяга, а в «Счастье» – нищий пастух, находящийся рядом с зарытыми в землю богатствами). Персонажи размышляют о несбыточном как альтернативном варианте судьбы («там и тогда») и задают концептуальные ряды невозможного.

В рассказе «Мечты» (1886) двое сотских сопровождают в уездный город бродягу, не помнящего родства. «Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это маленький, тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. <...> Он шагает несмело, согнувшись <...> (из-за воротника потертого пальтишки. – Л. С.) только один красный носик осмеливается глядеть на свет Божий. Говорит он заискивающим тенорком <...> Скорее это обнищавший, забытый Богом попovich-неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне; быть может, <...> это фанатик – монастырский служка, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий “жития мирна и безгрешна” и не находящий...» [Чехов, 1984, т. 5, с. 395–396]¹.

Персональный сюжет бродяги, как оказалось, нерелевантен ни одному из перечисленных автором вариантов сюжета о «погибшем и погибающем человеке» (Ф. М. Достоевский), поскольку чеховский персонаж подчеркнуто лишен антропологической завершенности.

На протяжении всего повествования бродяга описывается как человек, недополучивший личной идентичности, стремящийся к съёживанию-свёртыванию не только в физическом пространстве (фигура его крайне незначительна и сгорбленна, шагает он, как упоминалось, «несмело, согнувшись»), но и в витальном («Брови у него жиденькие, взгляд покорный, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за 30» (т. 5, с. 395), черты лица неопределенны, голос «старушечий» (т. 5, с. 398)). Физиономическая

¹ Далее ссылки на это издание приводятся в тексте. В скобках указываются том и страница.

неоформленность его облика фиксируется в очертаниях головы «с торчащей на ней редкой щетинкой» (т. 5, с. 397); «лобике», «носике» и «маленьком ротике»: грамматически образ бродяги оформляется при помощи уменьшительно-оценочных суффиксов; экзистенциально – транслирует стремление его носителя к исчезновению. У него нет имени, по крайней мере, для других: сотский пеняет ему на то, что «собака и та свою кличку помнит» (т. 5, с. 398); в каком-то смысле он не удостоен представлять человека в мире. Прозвучавшая выше отсылка к притче о блудном сыне теряет свой смысл, потому что это «ничей» сын. Отца у него не было изначально, а вот историю матушки-горничной он поведал.

Выясняется, что он беглый каторжник, ведь еще семилетним мальчиком он вместе с матерью отравил барина. Матушка намешала в стакан отравы вместо соды, а малолетний слуга поднес его. Поэтому он не называет своего имени: для него ссылка, а не возвращение на каторгу становится высшим благом. Он мечтает о меньшей степени неволи как о настоящей свободе. Настоящая свобода для него – это иметь свою землю (сущностно и юридически он человек без места на земле), завести «всякое хозяйство, пчелок, овецек, собак» и «кота сибирского, чтоб мыши и крысы добра моего не ели...» (т. 5, с. 400). Бродяга компенсирует в мечтах удовольствия жизни, которых он лишен. Последние теряют свою прагматическую акцентуацию, когда персонаж добирается до мечты о семье, ритуально апеллируя к Богу: «Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут» (т. 5, с. 400). В повествуемой реальности бродяга включается в ментальную сферу «всеобщего», правильного порядка вещей: у него есть дом, семья, он помнит Бога.

В событии мечтания «жалкий человек» психологически реабилитируется: «Как ни наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, задушевным тоном, что трудно не верить им. <...> Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия» (т. 5, с. 400). Бродяга возвышается до поэтической изобразительности, создавая образы «счастливого пространства» (Г. Башляр): «А реки там (в Восточной Сибири. – Л. С.) широкие, быстрые, берега крутые – страсть! По берегу всё леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку – и голова кружится» (т. 5, с. 401). Однако завершающее высказывание «убивает» образность воображенной / вспомненной действительности: «Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать» (т. 5, с. 401). Бродяга возвращается к своему обычному строю мыслей, как человек, привыкший совмещать высокие слова и искание практической выгоды.

Автор вовлекает всех трёх персонажей в процесс переживания мечты. Теперь мечта имперсональна – принадлежит всем: «Сотские молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли,

сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях» (т. 5, с. 401).

Тюремная стена существования стесняет теперь и сотских (фокализаторы в этом эпизоде – сотские): «Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какую они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далёких вольных предков, Бог знает!» (т. 5, с. 402).

Метафора тюремной стены, простирающейся всюду, актуализируется в сознании сотских и становится ведущим мыслеобразом в когнитивном пространстве эпизода. В апелляции к «далёким и вольным предкам» базовым концептом является *ВОЛЯ*, причем как в основном его значении², так и в производном, ассоциированном с представлением о социальной свободе – вольнице³. Экстраполяция *ВОЛИ* на топику настоящего задает трактовку данного концепта как *ВОЛЬНОСТИ*, когда «родовая» память сотских воскрешает когда-то, в предыдущих поколениях, потерянную свободу.

Сотские рисуют собирательный образ вольного человека. Человек, в их представлении, преодолевает все препятствия, обретая мифологическую гиперболичность: «...корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он силен плотью и бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, ни своего одиночества...» (т. 5, с. 401–402).

Сотский Никандр Сапожников завидует бродяге с его правом выбирать себе занятия в далекой и придуманной ими всеми сказочной Сибири. «Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и чернотой грязью» (т. 5, с. 402), но он прерывает общую мечту и возвращает участников истории к их служебно-ролевым обязанностям. Сапожников уверяет бродягу, что по слабости здоровья тот не только до Сибири не дойдет, но вряд ли одолеет даже триста вёрст. Оба сотских пророчат тому скорую смерть, ощущая в то же время и свою зависимость от общего порядка вещей, чувствуя себя несчастными и такими же обделенными судьбой, как их подопечный: «Сотские напрягают ум, чтобы обнять воображе-

² «Воля – данный человеку произвол действия; свобода, простор в поступках; отсутствие неволи, <...> принуждения» [Даль, 2006, с. 402]. В той же словарной статье приводятся устаревшие словоформы: «Волишь что – хотеть, желать, требовать, приказывать»; «Волевать – своевольничать». «Вольный – кому дана воля, свобода, самостоятельность, право» [Там же, с. 403].

³ Словарь Т. Ф. Ефремовой дает, в числе прочих, следующее толкование: вольница – «отсутствие ограничений, норм, разумных пределов в чем-либо; люди, в старину бежавшие от подневольной жизни, селившиеся по окраинам русского государства и отстаивавшие свою независимость (обычно беглые крестьяне)...» [Ефремова, 2000].

нием то, что может вообразить себе разве один Бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края» (т. 5, с. 402). Бродяга же представляет себе «картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство» (т. 5, с. 402): суд, этап, болезни... Наконец, все трогаются в путь, причем бродяга «еще больше согнулся» (неверие в мечту фиксируется позой подчинения).

Возврат к действительности потряс и разговорчивого сотского по фамилии Птаха – событием его эмоционального потрясения кончается рассказ: «Птаха (*сотский*) молчит» (т. 5, с. 403). Финальное высказывание принадлежит нейтральному повествователю, фиксирующему неизменность текущей ситуации. Сотский подавлен, потому что мечта недостижима. Конвергенция вообразенных состояний счастья в едином эмоциональном образе была кратковременной, и персонажи вновь разобщены.

Концептуальное поле невозможного в рассказе определяется как *ВОЛЯ / ВОЛЬНИЦА*, *ОТКРЫТОСТЬ*, противоположная замкнутости («стена»), полноценная *ПРИРОДА* (там – неизмеримые просторы, лес, река; здесь – проселочная дорога, редкие деревца, лужи), *СОЛНЦЕ* (неизменно сияющее в дальних краях; его отсутствие здесь – темный осенний день в повествуемом настоящем) и сильный *СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК* (здесь – слабый и зависимый). Невозможны пространственная ширь (унылые грязные дороги с чахлыми деревьями ассоциативно противостоят необъятным лесам и широким рекам), героический масштаб человека, недостижима свобода.

Основная концептуальная оппозиция в рассказе – невозможное / неизбежное. Повествовательная динамика замкнута в семантических границах вольного прошлого (отсылка к предкам) или будущего (мечты о мужицком счастье) и «подневольного», зависимого (для всех трех фигурантов) настоящего. Смысловая перспектива изменения существования отсутствует, поскольку исходная и конечная сюжетные ситуации совпадают.

Центральным концептом рассказа «Счастье» (1887) является титульный концепт, объем которого по-разному определяется персонажами. Из трех действующих лиц двое (объездчик Пантелей и старый пастух) артикулируют понимание счастья как неожиданного богатства, в то время как молодой пастух вовсе не в состоянии решить, что такое счастье.

Объездчик и старик-пастух беседуют о кладах. Старый пастух возмущен: «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет! А ведь счастья много, так много, <...> что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа!» (т. 6, с. 214). И старик, и объездчик прибегают к авторитету коллективного знания с его запретом на достижение желаемого: «Есть квас, да не про нас!» (старик), «...близок локоть, да не укусишь», «Есть счастье, да нет ума искать его» (объездчик) (т. 6, с. 214–215).

Для молодого пастуха, напротив, счастье представляется состоянием, сигнализирующим об утрате молодости и самодостаточности: «...почему клады ищут только старики и к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости?» (т. 6, с. 218); «...интересовало его не самое счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья» (т. 6, с. 218).

Субъектность ночных мечтаний о кладах сменяется общим планом расцвета в степи. Безграничный простор на земле противонаправлен локализации кладов под землей; широкое противостоит узкому и глубокому. Ассоциация двух рядов предметности – выдуманной и настоящей – аннигилирует первую как неподлинную и ложную: «Если взобраться на эту Могилу (Саур-Могила. – Л. С.), то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора <...>, деревни, а дальнорядный калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей» (т. 6, с. 217).

Когда наступает яркий летний день, старик и Санька – молодой пастух стоят неподвижно, «как факиры на молитве», и размышляют. «Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью. Овцы тоже думали...» (т. 6, с. 218).

Последнее предложение рассказа семантически и синтаксически эквивалентно окончанию рассказа «Мечты» – «Птаха молчит» – и на первый взгляд сигнализирует о том же: о недостижимости счастья. Мало того, «думанье» овец дискредитирует «думанье» старика о кладах. Ироническое завершение снижает ценностные установки персонажа, заметим, тоже человека без имени, как ведущий персонаж в первом рассказе. Молодого пастуха зовут Санькой, собеседника старика – Пантелеем, старика же – никак.

В отличие от предыдущего, в анализируемом рассказе не состоялось события эмоционального единения персонажей. Если Санька убежден, что счастья просто нет, а вместо него существуют ценности здоровой молодой жизни (счастья ищут почему-то одни немощные старцы), то старик мучится раздумьями о залегании кладов где-то поблизости, ведь счастье – это богатство и сопряженные с ним блага жизни.

Концептуальное поле невозможного в рассказе представлено концептом (с конкретизатором) *СЧАСТЬЕ / БОГАТСТВО* (в картине мира обездчика и старика) и *СЧАСТЬЕ / ЖИЗНЬ* (в мироощущении Саньки и точке зрения повествователя, которая экстраполирует беспредельность панорамного видения). В отличие от рассказа «Мечты», в рассказе «Счастье» осуществляется альтернативный вариант базового концепта. Если в основном повествовании счастье сопряжено с нечаянным богатством (ценностью вещей), то в восприятии Саньки концепт *СЧАСТЬЕ* функционирует в по-

нятийном поле *ПРИРОДА / МОЛОДОСТЬ / ВИТАЛЬНОСТЬ* и соотносится с бытийными ценностями. Описанный повествователем пейзаж, «индифферентный» по отношению к «счастью» старика, но задающий понимание действительности как разнообразия сущего, имплицитно указывает на те же ценности «живой жизни».

Таким образом, в более позднем произведении А. П. Чехова пространство выбора человеком своего места в мире расширяется, соответственно, меняется его представление о недостижимом. Если в первом рассказе персонажи возвращаются к начальной ситуации и невозможное для них остается безальтернативной данностью (два сотских останутся сотскими, а бродяга вряд ли доберется до вольного края), то во втором имплицитно присутствует возможность другой жизни, просторной и свободной. Художественность А. П. Чехова приобретает черты многомерности и концептуальной насыщенности, свойственной его зрелому творчеству.

Список литературы

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. Т. 1. 1158 с.

Живолупова Н. В. Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики. Н. Новгород: Дятловы горы, 2017. 268 с.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Рус. яз., 2000. 1209 с. URL: <http://www.efremova.info> (дата обращения 06.12.2017).

Тамарченко Н. Д. Сюжет испытания: опыт типологии (на материале русской повести Серебряного века) // Новый филологический вестник. 2006. № 2. С. 243–247.

Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высш. шк., 1989. 135 с.

Фрайзе Н. Проза Антона Чехова: Пер. с нем. М.: Флинта: Наука, 2012. 376 с.

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1984. Т. 5. 703 с.; 1985. Т. 6. 735 с.

Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард. СПб.: Инапресс, 1998. 352 с.

Article metadata

Title: Conceptual Field of the Impossible in A. P. Chekhov's Short Stories "Dreams" and "Happiness"

Author: L. N. Sinyakova

Author's e-mail: scholast@ngs.ru

Author affiliation: Novosibirsk State University

Abstract. The article examines conceptual field of the Impossible in A. P. Chekhov's two short stories, "Dreams" (1886) and "Happiness" (1887), which are arranged by the common plot. Conceptual representations of happenings are quite opposite in these stories. The characters dream of something impossible to get some psychological revival in bright dreams. But returning to reality is a deeply disgusting trial to them.

In the 1st short story, "Dreams", two village policemen follows the tramp to the city court. Exile in Siberia seems to him to be the greatest luck. Ontological and anthropological appearance of the main hero is miserable, but dreaming of the better life in Siberia changes him essentially. He wants to own a little piece of land, to build a house for his future family and to overcome any difficulties. The tramp's description of Siberian spaces involves his two followers into the process of dreaming. They dream of faraway freedom, because they suddenly realize they are chained in their duties and bored by monotonous life they lead on. Conceptual opposition of the short story is the Impossible / the Inevitable. Other variants of this main opposition are: Freedom / Necessity, rich Siberian Nature / poor autumn landscape, Sunny weather there / cloudy darkness here, and, at last, a Strong Man there / a Weak Man here, in the narrated situation and in actual lifetime in general.

In the 2nd story two old men, the shepherd and his acquaintance, are talking about treasures hidden under their feet in the ancient ground of South Russia. And while they are discussing how could they get the hoard, the young shepherd, one more hero of the story, thinks over what is happiness itself. He comes to conclusion that happiness is something correlated with old age and illness. So, two positions are revealed in interpretation of the basic concept *HAPPINESS* inside the conceptual structure of the investigated text: treasures and material comfort, on one hand, and some excessive idea, on another.

Then the description of endless landscape widens the area of narrated story. Happiness imagined by the old men seems to be eliminated in comparison with this vision. It means that the true existence values are out of things that two old men consider to be happiness. The process of living itself is much more valuable in the author's outlook, than any treasures. There reveals two pairs of oppositions in this short story: *HAPPINESS* in *TREASURES* / *HAPPINESS* in *VITALITY*.

The narrator's vision in the later short story spreads over everywhere. It means, in fact, the author's creation of sense of endless variability of life.

Key terms: conceptual field, freedom, scope, happiness, riches, vitality.

Reference literature (in transliteration):

Chekhov A. P. *Polnoye sobranie sochinenii i pisem* [Complete Collected Works and Letters]. In 30 vols. Soch.: In 18 vols. Moscow, Nauka, 1984, vol. 5, 703 p.; 1985, vol. 6, 735 p. (in Russ.)

Dal V. I. Tolkovyi slovar zhivogo velikoruskogo yazyka [Russian Vocabulary]: In 4 vols. Moscow, AST: Astrel: Tranzitkniga, 2006, vol. 1, 1158 p. (in Russ.)

Efremova T. F. Novyi slovar russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyi [The New Russian Vocabulary. Explanatory And Grammatical]. Moscow, Russkiy yazyk, 2000, 1209 p. URL: <http://www.efremova.info> (accessed 06.12.2017). (in Russ.)

Fraize N. Proza Antona Chekhova [Die Prosa Anton Cechovs]. Transl. from German. Moscow, Flinta: Nauka, 2012, 376 p. (In Russ.)

Shmid V. Proza kak poeziya. Pushkin. Dostoyevskiy. Chekhov. Avagard. [Prose as Poetry. Pushkin. Dostoyevsky. Chekhov. Avant-guard]. St. Petersburg, Inapress, 1998, 352 p. (in Russ.)

Tamarchenko N. D. Syuzhet ispytaniya: opyt tipologii (na materiale russkoy povesti Serebryanogo veka) [The Treatment Plot: Typologic Study (On Russian Story of Silver Age)]. *Novyi filologicheskiy Vestnik*, 2006, no. 2, p. 243–247. (in Russ.)

Tyupa V. I. Khudozhestvennost chekhovskogo rasskaza [Art and Poetics of Chekhov's Short Stories]. Moscow, Vysshaya shkola, 1989, 135 p. (in Russ.)

Zhivolupova N. V. Dostoyevskiy i Chekhov: aspekty arkhitektoniki i poetiki. [Dostoyevsky and Chekhov: Aspects of Archytectonics and Poetics]. Nizhniy Novgorod, Dyatlovy gory, 2017, 268 p. (in Russ.)